

Францисканец

Твой род

БИБЛИОТЕКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ,
УДОСТОЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ СССР



Постановлением
Центрального Комитета
КПСС и Совета Министров СССР
писателю
МАТЕВОСЯНУ
Гранту Игнатьевичу
за книгу «Твой род»
присуждена
Государственная премия СССР
1984 года

Грант Матевосян

Твой род

ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Перевод с армянского
АНАИТ БАЯНДУР

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84,Ар7
М 34

Художник Евгений КОГАН

М 4702080200—105
083(02)—86 271—80

Перевод на русский язык.
© Издательство
«Советский писатель», 1986 г.

МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Родился я в 1935 году в селе. Облик этих и последующих пятнадцати, двадцати и даже тридцати лет моей жизни гораздо более приближен ко временам Туманяна — Толстого — Гомера, нежели к сегодняшним нашим дням. Я пахал землю, косил траву, помогал родиться теленку, призывал дерево — чтобы всего не перечислять, скажу сразу: если бы повторилась легенда с потопом, я, как Ной, смог бы возродить на земле большую земледельческую и скотоводческую культуру, и за это я благодарен тем пятнадцати годам, что провел в селе. И если бы что случилось с памятью человечества, я смог бы по образу и подобию своих односельчан, по их тогдашнему образу жизни слепить заново кодекс человеческой нравственности. Кстати, нечто подобное на памяти нашего народа уже было: тот край, в котором я родился на свет божий, это маленькое село из шестидесяти — семидесяти очагов под названием Ахнидзор в 1798 году уже было стерто с лица земли в результате нашествия персидского шаха Ага-Махмед-хана, а может, и в 1606 году во время нашествия Шах-Аббаса, а может, и того раньше — турецкими и арабскими набегами — во всяком случае, в 1798 году оно было уничтожено в последний раз. Так вот, в тысячекратно разоряемом этом красивом ущелье лет так сто пятьдесят назад жил парень по имени Ованес. Ованес Матевосян, сын Товмаса; у этого Ованеса ничего за душой не было, ничего не принес он с собой из далекого села Ахпата — он да жена, назовем ее Евой, да пара рук, да армянский один язык. Наше село, каким я его помню, населено было их потомками, это был уже целый мир со своими полями, гумнами, лугами, родниками, звонкой школой о двести учеников и с памятью. И вот это село, основанное Ованесом, этот сколоченный им ковчег, снаряженный в путь, сто пятьдесят лет держался на поверхности жизни, а затем мир и человечество ступили на

новые круги бытия прямо на наших глазах, и на наших же глазах в последние десять — двадцать лет это село, этот ковчег, эта вековая обитель людская — как бы точнее сказать? — то ли развалилась, то ли пошла ко дну, а может — перестроилась? Я хочу повторить опыт Ованеса в литературе. Хочу открыть новую просеку и заселить ее людьми и животными. Многое я беру из села моей памяти, многое же создаю наново, и все это похоже на переселение в некое село, чье название — Цмакут — я придумал. Я бы хотел придумать множество прекрасных людей, и тогда бы не осталось места для плохих; я бы хотел придумать время действия для моих повестей — тогда бы в них не было места войне; но у меня нет выбора: хочу я или нет, я должен быть летописцем наших дней.

Почему я пишу? Потому что писали Туманян и Толстой? Думаю, что да, до некоторой степени. Но еще больше в этом повинны произведения, которые ими не были написаны или же были написаны, но не так, как замысливались. А вообще-то если какое-нибудь божье создание может сказать, почему оно цветок, волк, лошадь, человек или картина, точно так же писатель может сказать, почему он писатель, почему он пишет. Про себя я только знаю, что я армянин, мне столько-то лет, я пишу, и порой моя фраза мне очень нравится, такая, скажем: «Они планируют свое прошлое и будущее, а наше поведение как чужая лошадь убегает из-под нас». Я хочу быть летописцем их судеб — тех, кто личность, но в общих сводках числится как человеческая единица, а в драмах великих трагиков представляет собой фон, у плохих же писателей называется — толпа. Наш поэт Амо Сагиян сказал как-то: иноземные захватчики решили обезглавить страну: князей и их отпрысков под видом совещания собрали в нахичеванских монастырях и предали огню, род армянских царей был истреблен еще раньше, и вдруг обычный армянский крестьянин увидел: страна осталась беспризорная, и его дом должен обернуться государством, а сам он в этом доме-государстве и батрак, и князь, и работник, и хозяин... Первую часть этого высказывания подтверждают свидетельства старых армянских летописцев, я же постараюсь быть летописцем второй части, летописцем высоких дел моего народа, сегодняшней возродившейся и уверенной в будущем Советской Армении.

ГРАНТ МАТЕВОСЯН

ТОГДА, ЗИМОЮ

В этом селе ни одна дверь не сидела в своей раме так ладно. Плотная дубовая дверь, отец мой как приладил ее лет десять — пятнадцать назад, так она и сидела в раме, будто влитая. Но по единственному, почти незаметному стыку двери и рамы холод проставил ломкую кромку ипея и крепким и гладким серым льдом обвел пару петель; немного погодя, когда мальчик с отцом толкнул дверь, чтобы выйти из дома, лед на обеих петлях с противным скрежетом разломается.

Мальчик по имени Армик Мнацаканян ждал, пока отец кончит отбирать гвозди. Несмелые язычки пламени изредка выглядывали из-за печной дверцы, стекла в окнах были заиндевелые, в комнате стояли сумерки. Опустившись на колени прямо напротив слабых отблесков печки, отец на ощупь выбирал гвозди из ящика, те, что не очень гнутые были, совал в карман кожанки. Мать заправляла постель и каждый раз видела, как отец бросал в карман гвоздь. По мнению матери, стоило пожалеть и гвозди и карман. Матери все хотелось сделать замечание, что гвозди раздерут карман, но она ничего не говорила. До войны, когда мальчик не доставал рукой до ящика, у отца там и впрямь было много гвоздей, но сейчас их не было, и ему казалось, у него их никогда не было. И подростку по имени Армик Мнацаканян было стыдно вспомнить, что некогда он был ребенком и загубил отцовы гвозди. Сейчас эти гвозди можно было найти в разных сгнивших досках. Мальчик Армик держал молоток в руках и забивал гвозди всюду, куда без труда мог войти гвоздь.

На печке не еда была — собачья похлебка. Собаки у них не было, собаку волки задрали. Похлебка разогревалась для свиньи, она пока еще не разогрелась, ее еще не вынесли и не скормили свинье, кислый запах стоял по всей комнате. У подростка по имени Армик Мнацаканян

волки отняли его собаку. Он сам выбрал ее из щенков, остальных, ненужных, вместе с дедом они закопали в землю, а эту вырастил, деля с ней поровну молоко. Сам вместо деда он наказал себе защищать ее от волков, потому что главное было эту зиму одолеть, а будущей зимой собака уже постояла бы за себя. Собака стукнулась о дверь и тревожно завывала, мальчик выскочил из постели и увидел собаку еще живую — между хлебом и старой грушей, была даже такая минута, когда мальчик и собака оказались среди волков вместе, но потом мальчик стоял на снегу один, а за старой грушей на пустынном заснеженном холме вроде бы высоко прыгнула белая собака, и тут же ее острый скулеж заглох между волками. Волки уходили врозь, не стаяей, но собака не возвращалась. Мальчик осторожно, ужасаясь и удивляясь случившемуся, позвал собаку, но ее не было. Стоя под луной среди поблескивающих снегов, он еще раз позвал собаку, ему даже послышались мягкий бесшумный бег и знакомое дыхание, но нет, мальчику показалось. Под большой луной на чистых снегах мальчик не нашел даже капельки крови, прямо в воздухе, на лету они разорвали, слопали ее. Мальчик, казалось, целую вечность простоял там, где только что были волки и собака, в ушах — их мерзкая возня. Чуть позже пришла мать и встала в дверях хлева. Озираясь по сторонам, мальчик подошел к матери и потом, стоя рядом с нею, долго смотрел на чистый белый холм. Волков он не испугался, волков вблизи он уже видел. Среди поблескивающих снегов он стоял не одетый и босой, по слову матери не было похвалой, нет: если бы мальчик так по-глупому не бросился к своре, собака бы тоже не кинулась туда, не кинулась и спаслась бы. Потом уже, дома, мать похвалила мальчика, но это уже так, чтобы мальчику не очень обидно было, а настоящее мнение матери было — упрек, которого мать больше не повторила, но в сердце мальчика он уже засел занозой.

Сестренка проснулась, села в постели и, никого и ничего еще не разбирая, поведала, что в ее маленьком девчопочьем сне пришел отец и поцеловал ее, но принести ничего не принес... Рассказывая, она увидела отца и удивилась:

— Вай, а ты во сне приходил к нам...

Отец выбирал гвозди перед печкой, радости в нем не было нисколько, но для девчушки он нашел что-то похожее на ласку.

— Во сне приходил, говоришь? — сказал он. — Во сне я взаправду приходил?

В их холодном, пропитанном свиначьей мешанкой доме это была патужная ласка, но для того чтобы обрадовать девчущку, этого оказалось вполне достаточно. С раскрасневшимися щечками, с блестящими глазками, она молча улыбалась, сидя в постели, потом сказала:

— Сколько ни увижу тебя во сне, столько ты и приходишь?

Стоя на коленях перед печкой, отец замер от восторга.

— Сколько ни увидишь, — сказал он, — столько и приду.

Мать убирала их с отцом постель, застилала ее покрывалом, мать сказала:

— Сколько ни увидишь, столько и придет, но ты поменьше такие сны смотри.

— Я каждую ночь буду его видеть, — сказала девчущка, — всегда буду видеть, если не будет приходить, глаза вот так закрою и увижу.

Девчущка натянула на плечи одеяло, закрыла глаза и покачнулась.

— Увидишь, — усмехнулась мать, — он-то придет, а его раз — и пошлют за другого работать. Чужой работе конца-краю нет.

— И такое может быть, — откликнулся отец. — Гвоздей не нахожу.

— Посмотри в золе, — сказала мать, — по погодятся ли?

— Что гвозди в золе делают?

Мальчик возле двери весь сжался. Взмокнув от стыда, мальчик сжался не только потому, что в конечном счете это он закинул гвозди в печку: мать растапливала печку подгнившими балками и досками, и старые, еще в детские годы вколотенные туда гвозди выходили теперь на свет божий. Так-то оно так, но мальчик сжался в своем углу еще и для того, чтобы сестренка его не увидела. На мальчике по имени Армик Мнацаканян было надето домотканое платье, которое мать носила, когда сама была девочкой, и которое года через два должна была надеть девчущка. Девчущка знала, что ярко-красное это платье должно перейти ей, и примеряла его время от времени. Для мальчика это было унижительное одеяние, но, когда мать почти силком впихивала мальчика в это платье, нельзя было громко, вслух возражать, потому

что дети, братик и сестренка, проснулись бы и девчушка увидела бы в отблесках печки на мальчике свое будущее красное платье и огорчилась бы, ничего не сказала, но от горя заболела бы.

Единственное, что он мог сделать в знак протеста против девчачьего этого платья, это то, что он свою веревку протянул над правым плечом, потом под левой рукой, обмотал вокруг груди и стал как русский солдат, скатавший шинель в скатку.

Щеколду перед отцом отодвинул мальчик, и с морозной почной улицы отец принес в дом свежий запах буквых опилок. С минуту отец стоял в дверях среди семейного тепла, усталую, натруженную руку он положил, как погладил, на голову мальчика, от усталости он валился с ног, потом он поцеловал спавших детей, и девчушка сказала: «Ты что мне принес?» Увиденное девчушкой не было сном, но кто и когда углядел, что отец в селе, и кто и когда успел взвалить на отца работу — вот это для мальчика было загадкой. Наверное, случайно увидели его, проходящего по селу, и вспомнили, что быки в горах выломали дверь хлева... Но мальчику казалось, что деревенские власти всю неделю стояли на тропинке к их дому и поджидали отца, чтобы сообщить ему, что хоть это и не по его части и хоть он и усталый до смерти, но быки в горах снесли ворота хлева.

Может, из жалости к отцу, а может, потому, что ему ничего не стоило крепкое как сталь дерево пригвоздить к крепким полозьям санок, мальчику казалось, что дверь он починит в минуту, это животноводы пускай думают, что они животноводы, и только, а чтобы гвоздь вбить, для этого особый человек нужен.

— Пошли.— Отец сказал это так, словно тут, рядом, в двух шагах надо было вбить гвозди, он торопливо поднялся, засунул ящик в недра шкафа и повторил: — Пошли, пошли.— Потом нагнулся, поднял с земли и сунул под мышку связку веревок. Открывая дверь, отец задел плечом мальчика, он посмотрел на него, вспомнил, что это его товарищ по пути, и жалко, с сомнением улыбнулся.

— Ну и уходи,— сказала мать.— Нам все равно, ничего ведь для нас не приносишь, когда приходишь.

Мать сказала это как бы от имени девчушки, в шутку, значит, но хоть и в шутку, хоть и с любовью, а лучше бы она этого не говорила. Отца, пускай без ничего, без

гостинцев, пустой приход уже был большим подарком для мальчика. В этом селе, полном осиротевших детей, отец, навещавший их раз в семь дней, источающий усталость и аромат свежего дерева отец наполнял сердце мальчика ни с чем не сравнимым счастьем и постоянным страхом потерять это счастье.

Холодный жесткий воздух ударил им в лицо, и перекинувший веревку через плечо на манер русского солдата мальчик в красном платье поежился и затрусил за отцом. Ему хотелось думать, что они с отцом мужчины-товарищи, но его шаг был короче отцова, и, хотел он того или нет, он то забегал вперед, то какое-то время с неприкрытой гордостью шел рядом с отцом, плечо в плечо, а то отставал и видел впереди широкую костистую отцову спину. Так его собака бежала с ним, когда мальчик впрягался в сани и шел за хворостом в лес.

Девчушка, прижавшись посом к стеклу, наверняка увидела из окна красное платье, надетое на брата, и конечно же немного огорчилась... и, может, мальчик не потащит в этом платье сено, может, он снимет платье и принесет его домой под мышкой, и это станет утешением для девчушки, а пока ничего, пусть живет до вечера ее крохотная печаль птички.

Отец замедлил шаги и крикнул через плечо в сторону дома:

— Эй, ахчи...

Из хлева доносился резкий визг свиньи. Коза, телок, корова — как они дают понять о своих тревогах и голоде? Голодны они, пить хотят или же больны, молча терпят, а свинья с раннего утра наполняла их мирное существование своим неустанным безобразным визгом. Не дожидаясь ответа из дома, отец прокричал:

— Дайте этой свинье ее пойло, пусть заткнется, ахчи, а то корову жалко, — и споткнулся, что ли, споткнулся, потом пошел быстрее, заспешил. И опять мальчик видел перед собой его широкую спину, топориче заткнутого за пояс топора и веревки под мышкой.

Этот клич насчет свиньи так и повис в воздухе. Ветер, а может, стужа подгоняли отца, согнувшись, он снова крикнул: «Эй, ахчи... дай поесть свинье». От их крыши поднимался белый пар, огонь в печке не занялся еще, значит... печку разжигали хворостом мальчика... мальчик любил трескучий огонь сухого дерева, еще мальчик любил зеленую мшистую бороду дров... Отец прокричал насчет

свиньи, на печке разогревалась мешанка... значит, ереванский жулик еще не купил свинью, не приехал еще из своего Еревана и сверх цены не кипул, как милостыню, дряхлую кожанку, кожанка еще не пришла в их дом, на ереванце еще была... по что же тогда было на отце? Отец, нет, он не был раздетым среди этих снегов, когда сказал через плечо «Эй, ахчи» и, как подстегнутый, ускорил шаги, на отце что-то такое было, но что же? Солдатская шинель? Если пройти десять километров вдоль замерзшей речки, если вдоль речки к железной дороге спускаться, лесное хозяйство будет. Отец там десятником работал. Командовал дровосеками-пленными. Война только кончилась или даже еще не кончилась, на отце и впрямь могла быть солдатская шинель. Не помню. Мальчик, да, мальчиком этим был я, но я уже так отошел, так отдалился от него, что мальчик этот для меня — существо отдельное, независимое. Начальничество отца над пленными мать, бывало, высмеет или скажет с беззлобной улыбкой — десятиники, мол, мы. Но в душе она питала тайную надежду, что, получив ничтожную эту власть, ее работяга-муж приохотится к должности... то есть не придет и не попадет у собственного порога прямо в лапы руководству, а, стоя на тропиночке, сам неделями будет выглядывать-поджидать какого-нибудь наивного простофилю работника, чтобы немедленно отправить его в горы чинить сломанные ворота... Но теперь я знаю, что напрасными были и злость этой жепщины, и надежды ее: отец стеснялся попросить стакан воды у меня, собственного сына, этот человек был сам вроде в плену у своих пленных, какое там — десятником. Бойкому обманщику ереванцу он не мог сказать, что свинью ему не продаст, — единственная эта свинья была единственным прокормом всем троим детям, начиная с лютовавшей беспощадной этой зимы и до самой голодной весны, — он не сказал, что нам самим нужны и мясо, и сало, и кожа, и ножки, и свиная голова. Ереванскому врачу он не мог сказать, что кожанку его в прошлом, может, даже комиссар какой послал, но сейчас кожанка старая, невозможно старая, прямо серая от старости... Спящий, источающий улыбки торгош сказал: «Свинным салом намажешь, еще как заблестит».

Одна из дверей у Давеланцев скрипнула, кто-то, остановившись на тропинке, ведущей к уборной, смотрел в их сторону, и мальчик в своем красном девчоночьем платье спрятался за отца. До оврага, до того места, которое не

проглядывалось от дома Данелапцев, мальчик двигался плечо в плечо с отцом. В овражке от ручья, покрытого крепким, как камень, толстым льдом, тропинка попонзла вверх, и мальчик был вынужден пропустить отца вперед, впрочем, прятаться уже было незачем — на всем белом склоне они были одни. Тропинка была дорожкой для санок с бороздами от полозьев, основательно заледевелыми, мальчик свои дрова привозил по этой дорожке, мальчик любил думать, что это его железная дорога, он мог от самого леса пустить вниз груженые санки, и санки, не сбившись с пути, скатились бы, но мальчик не делал этого, потому что вдруг бы на тропинке кто-нибудь был... и потом, набрав скорость, санки с разбегу ударились бы внизу об лед и соскочили в овраг.

Отец ломал дорожку мальчика — снег под его тяжелыми шагами крошился, забивал борозды, завтра санки не пойдут уже так плавно. Но по обе стороны тропки снег был глубокий, по колено, и мальчик втайне радовался, что вот он подарил отцу свою дорогу. Завтрашняя работа мальчика осложнялась. Отец сошел с заледевелой тропки и пошел по снегу. Замерзший снег продавливался, и ноги отца увязали в снегу. Легкий, совсем ничего не весивший мальчик обогнал отца и пошел по своей дорожке, ударяя каблуками по обледевелым бороздам, разбивая их и приглашая отца разбивать. Отец, может, улыбнулся, может, сказал с любовью «дурень», а может, и огорчился, и выругал этот холодный, голодный и жестокий мир... но немного погодя подчнулся и снова ступил на мальчикову тропку, а мальчик, будто бы ему надо перевязать ремешок у пестолы, отстал от отца, пропустил его вперед, потому что нельзя же все время маячить перед его глазами и постыдно напомиать, что вот-де я мальчик, а меня вырядили в девчончье платье.

На самом краю обрыва брат поставил капкан. Вернее, это он, мальчик, наладил капкан, но капкан был братов. Потому что это брат мечтал поймать волков на пятьсот рублей. Его худенькое тельце птенца не оставляло следов на дорожке мальчика, и казалось, капкан спущен с неба, божий капкан. К цепи брат прибавил зеленую веревку от пестолов, еще какую-то тряпку, лоскутки от какого-то платья и все это протянул-привязал к дубовой поросли. Будто бы волк поднимется по тропинке мальчика и прямо — в капкан. Отец вытащил топор из-за пояса — домашнюю тварь может покалечить — и хотел было топорн-

щем захлопнуть капкан, потом передумал — откуда ей взяться, все подчищено.

— Это ты поставил? — спросил отец.

— Братик, — сказал мальчик, — брат.

Глядя на Грайровы веревочки, отец засмеялся, как заплакал. Овраг кончился, они вышли к яру. Перед тем как начать восхождение, отец оглянулся на село, и мальчик тоже посмотрел. Безмолвное, словно вымершее село, казалось, и дыма нигде нет. Мальчик будто увидел ком в горле отца. Сорок восемь парней не вернулись с передовой, сорок восемь косарей, погонщиков, пастухов, учителей, пахарей — целый звонкий хор.

На всем взгорке сверху донизу лежал нетронутый, отдающий синевой снег, только саночный путь мальчика спускался по нему отлого. Таким прямым еще был железнодорожный путь Петербург — Москва. Русский царь положил линейку на карту и начертил свою железную дорогу, и русские крепостные легли и на себе провели-проложили через болота эту прямую железную дорогу царя. А в мальчиковой дороге и крепостным, и царем был сам мальчик. Когда мальчик во второй раз вынужден был бросить санки и убежать в лес, санки, набрав скорость на повороте, слетели в омут, тот, что справа. Омут не очень глубокий был, но, как могильная яма, начинался сразу, и, когда мальчик по одному выбросил из него все свои дровишки и хотел уже сам выбраться, омут его не пускал, мальчик тогда домой пришел только к ночи. Козла дяди Шаварша волки в этой яме слопали; окружили, спихнули и там задушили и загрызли, а на воле они и хвоста бы его не увидели — длинномордого, почти что дикого черного козла.

Между омутом и дорожкой мальчик устроил снежный заслон. Но он не очень был уверен, что заслон выдержит, если он на санках с размаху стукнется об него, и на этом повороте он всегда лемножечко побаивался, а потом, проскочив, тайком улыбался про себя.

Отец заметил заслон, посмотрел поверх его на омут, паверное, увидел сухие щепки и следы мальчика, и снова у него вырвалось это его «айеэ» — айеэээ...

— Ты что же, в яму угодил? — запоздало перепугался он.

— Нет, салазки просто упустил.

— А не сам упал?

Мальчик говорил неправду, он тебя жар, и сознание их бросил, санки бросил, а сам убежал холодное сморщенное,

— Очень мучаешься? Трудно тебе? у тебя жар, облик.

— Трудно? — удивился мальчик. — Нагружаю, сами идут.

Отец снова занервничал.

— Айеэ, лошадь, что ли, грузишь, сами идут.

Слова в нашем сознании имеют свой особый облик. Яблоко, например, это когда у тебя жар, и сознание твое замутилось, и сестра отца, тетка твоя, бормоча, целует твой лоб и кладет в твою руку холодное сморщенное, как ее щека, яблоко, и ты только через два дня замечаешь, что за пазуху тебе закатилось яблоко. Слово «мучиться» относилось, по мнению мальчика, ко взрослым, к их работе, а дети, их лишения и их посильная доля в работе — это мучением не было.

— Вот дядя Ашхарбек, тот промучился, — сказал мальчик. — С Медовой Груши скатил бревно, до самого низу бревно хорошо летело, а внизу заело, волы сколько ни тянули, не вылезало. Потом ярмо сломалось, дядюшка тогда дерево срубил... волам неудобно, пятаются, а дядюшке самому холодно, дует на пальцы и на волов кричит... Когда дядюшка дерево рубил, с Каранцева холма на него лесник все время смотрел. Дядюшка ему: «Иди, иди... говорит, как подойдешь, так я запрягу». А тот все стоит и смотрит, и не подходит.

— А почему Ашхарбек через нас поехал? — спросил отец. — Почему понизу не поехал, хорошей дорогой?

— Не знаю, — сказал мальчик, — он от Медовой Груши бревно отпустил, через нас хотел везти. Цепь старая была, все время обрывалась, ярмо сломалось, волы не шли. Я уже хворосту набрал, вернулся, а он все бился с ними.

— Бревно это, не иначе, мы вместе рубили, до войны еще, — припомнил отец, — косить собрались, ребят в лесу поджидали, вырывая друг у друга топор, шутя, играючи срубили, обтесали, выволокли на дорогу, ребята пришли, видят, а мы на обтесанном бревне сидим, их ждем, — отец вздохнул. — Унес, значит.

— Наши думали, нам бревно везет, председатель, думали, приказал, мама растерялась и все смотрела, чем бы его угостить-накормить... и волам его решили сена дать... а он через нас и увез.

— Ничего,— сказал отец,— увез так и увез. Мучился, значит. Сейчас столько их, которые под землей и не мучаются, столько их, кто хотел бы мучиться и выбиваться из сил, но быть, живым быть...

— Я потом пошел посмотрел,— сказал мальчик, и ему стало неловко: в мире столько горя и страдания, а он все о себе, о том, как он пошел да посмотрел.— На нижней дороге вода замерзла, бревно бы в овраг вместе с волами скатилось, крепкий такой лед, бугром, птица встанет, соскользнет... и потом...

— Что потом?

— Бревно большое было, до Медовой Груши воны еле тащили, петляли.

— Ну ладно,— сказал отец,— бревно унес, великое дело.

— Я не про бревно думаю, воны намучились.

— А ты? — сказал отец.— Ты не мучаешься, не устаешь разве?

— Я тогда санки взял, в лес пошел. А обратно иду, вижу, паш Грайр стоит возле волов и кряхтит с ними вместе, дядюшка кричит на волов, а он весь сжимается, напрягается. До самой ночи проторчал, мама звала его, а он не отзывался.

— И то помощь,— сказал отец.— Уроки у тебя как идут?

— Два-три здоровых кола нужны были и два-три человека, чтоб бревно поддеть. Дядюшка тужился один и все смотрел через плечо, кого бы на помощь позвать, но никого кругом не было, только на Карапцевом холме лесник стоит и смотрит.

Отец усмехнулся.

— А Пыльный дед? Не помог?

— У них корова в овраг свалилась, сколько женщин набежало — и кричали, и ругались, и веревками тащили.

— Это когда же дело было?

— Я тогда еще маленький был,— сказал мальчик.

Отец улыбнулся.

— А сейчас большой?

Мальчик и теперь был маленький, но тогда, в то время, он был совсем маленьким. При желтом болезненном, мошко сказать, несуществующем свете фонаря женщины суетились и проклинали Пыльного деда, а заодно и Гитлера. Внизу, ниже ручья была топь, корову затягивало, а повыше ручья крутой обрыв был, женщины забросили